

Игорь Шестков "Волька"

Волька любил дочку еще до ее рождения. Чуть от страха не задохнулся, когда вернувшаяся из роддома Эля дала ему ребенка на руки. Боялся, что головка оторвется и упадет. Посмотрел на сморщенное личико новорожденной, на которое свисали длинные влажные черные волосы, и понял, – с ребенком что-то не то. За первые три месяца жизни его дочь ни разу не засмеялась. Ни ему, ни матери, ни бабушкам, ни дедушкам. Как ни трясли перед ней разноцветными погремушками, как ни целовали в животик, как ни пели песенки-считалочки... Аты-баты шли солдаты... Когда Санечке было пять месяцев, Волька заметил в выражении лица дочери что-то нечеловеческое. И не звериное... Ему показалось, что он увидел сладкую гримасу дьявола.

Когда ребенку исполнился год, платная детская врачиха Софья Соломоновна долго объясняла обмершим родителям что-то про гены, про резус-факторы, упомянула о том, что евреи слишком часто заключали браки между двоюродными братьями и сестрами, а потом огласила приговор – Санечка останется слабоумным инвалидом, без надежды на улучшение... С глаз не спускать, иначе сама себя поранит... Дай Бог, чтобы в туалет научилась ходить... Всю жизнь будет как годовалый ребенок, только тело постареет. Проживет лет двадцать пять... Пенсию дадут. Инвалидную. Если фиктивную справку о работе достанете. Рублей сорок. Можно и в клинику сдать. Тут у нас, под Новгородом, есть учреждение. Сразу хочу предупредить – для Санечки там двери ада откроются. Полный инвалид. Да еще с пятым пунктом. Решайте сами. Детей вам больше заводить не рекомендую...

Санечку оставили дома, окружили заботой и любовью. Наняли домработницу. Она оказалась воришкой. Украла несколько серебряных ложек и исчезла. Наняли другую. Эта была получше, но у Санечки появились на теле синяки, а в небольшом баре под телевизором начал сам собой испаряться коньяк. Третья продержалась около двух лет, потом заявила, что устала... Уходя, захватила Элину зимнюю шубу...

Жили Волька и Эля как автоматы. День прошел – и слава Богу. Работа, сон и

забота о больной дочке занимали всю его тысячу с небольшим быстро летящих минуток. Ни на что другое не хватало сил и времени. Изредка ходили в кино. Так и прожили семнадцать лет. Санечка к этому времени достигла роста и веса десятилетней девочки. По-маленькому ходила сама. Ела руками. Смотреть на это было неприятно. При посторонних родители кормили ее ложкой. Ходила хорошо, даже говорила. Чаще всего громко повторяла услышанное.

Эля привыкла к жизни по расписанию. Облегченная работа (она была лектором политпросвещения) позволяла ей планировать день. У нее появился близкий друг – театральный режиссер, очаровательный рыжий еврей, провинциальный гений, кочующий между Ленинградом и Вильнюсом. Он жалел и любил Элю. Таскал ее на репетиции. Отвлекал и развлекал как умел. К Вольке презрения не испытывал, наоборот, уважал его за стойкость. Совесть его не колола, потому что он был уверен, что дает Эле то, что затюканный жизнью Волька дать не в состоянии – иллюзию счастья.

У Вольки никого кроме жены и дочери не было. Он работал на радиозаводе инженером. После трудового дня сидел с Санечкой. Выводил ее гулять. Стирал. Готовил. О театральном режиссере догадывался, но не знал, как далеко это зашло, жалел жену и закрывал на все глаза. Развлечений у Вольки было мало. Телевизор он не любил, радио слушал достаточно и на работе. Собираение марок, которым он увлекался в детстве, Волька забросил. В редкие свободные минуты читал. На серьезную литературу Вольке не хватало нервов. Предпочитал детективы и фантастику. И поговорить ему было не с кем – многочисленные в прошлом друзья потихоньку оставили их печальный дом. Высидеть несколько часов рядом с психически больным ребенком мог далеко не каждый. Но и этот, терпеливый, попробовав этого удовольствия пару раз, на третий раз заболел гриппом или уезжал в срочную командировку. Эля часто работала в поздние часы. Родители вечерами не приходили. Слоняющиеся по улицам пьяные пролетарии запросто могли ударить незнакомого прохожего бутылкой по голове. На перекрестках тусовались группки подростков. Они были еще опаснее своих отцов и старших братьев. Да и тротуары никто не чистил. Карабкаться пешеходам приходилось по скользкому ледяному насту. Поэтому Волька был почти каждый вечер один с своей больной дочкой. Хлопотал по хозяйству и

говорил с ней часами. Рассказывал про свой завод, обсуждал политические новости, рассуждал на отвлеченные темы...

Шел ноябрь 1982-о года. Волька пришел с работы, отпустил домработницу, накормил Санечку, поел и занялся уборкой. Заговорил по инерции о том, что было тогда у всех на устах – о смерти Брежнева.

«Еники-беники. Тревожно что-то. Не знаю, что теперь с Союзом будет», – начал Волька.

«Будут мокрые штанишки!», – откликнулась Санечка неожиданно впопад низким, громким, настырным голосом.

«Ели вареники. Коммунистическая идея будет теперь разжижаться. Отступит на второй план. Главным политическим содержанием советской жизни станет борьба наследников. А они все старые. Сами умрут скоро. Им будет не до коммунизма. А Союз-то на одной идеологии держится. Как на цепочке. Исчезнет идея – начнет разрушаться базис. Производство остановится. А потом и надстройку всю как в центрифуге разнесет. Социалистический лагерь рухнет... Вышел упрямый матрос... Никто нас не любит. Поляки, вон, как волки смотрят, укусить хотят. Папа Римская воду мууутит», – шутливо протянул Волька, вытирая пыль на книжной полке, с которой косилась «Девушка с тремя глазами» Пикассо.

«Мутит, мутит, папа! Будут мокрые штанишки!» – грозила Санечка.

«Ты только подумай, дорогая моя дочка, – убеждал Волька. – Ведь дело хаосом кончиться может. Потому что советская пирамида стоит не на основании, а вверх ногами – на вершине. На одном человечке все держится. А он взял, да сыграл в ящик. А что же будет с нами? Ведь на Руси во всем евреи виноваты. Служили им, служили, а потом... Еще и погромы начнутся. Тут всегда чем-то подобным пахнет. Смертью пахнет. Аты-баты шли солдаты!»

«Баты! Баты! Санечкиными писюлями пахнет! – жаловалась Санечка. – Во всем папа виноват. Папка-дядька! Он Санечке штанишки не передел. Мокрые штанишки-то! Надо новые надеть!»

Она взяла Вольку за руку и повела в свою комнатку с половинкой окна, отделенную тоненькой самодельной стенкой от спальни родителей.

«Твоя мама этой власти служит. Дедушка Пиня за нее с фашистами сражался.

Проливал кровь. Дедушка Сеня не воевал, он в органах работал. Говорят, проклятье есть такое – потомки палачей дураками рождаются. А у нас дураков-то и нет. Только дурочка есть одна. Но она – самая сладенькая в мире дочка Санечка... Что бы я без тебя делал? Весь мир мне чужой... Еники-беники!»
«Беники, беники! Описалась Санечка. Понимаешь ты? Описалась! Штанишки мокрые. Папка-дядька! Хочу писю тереть!»

Научила мастурбировать Санечку не природа, а одна из ее нянек. За что и была уволена. Волька делал вид, что не замечает, что делает дочь. Он по опыту знал, что запреты и воспитание на Санечку не действуют, только вызывают у нее вспышки ярости. Да и не понимал, зачем бороться с единственным удовольствием больного ребенка.

Волька продолжал говорить: «Вот так, малышка, похоронили его у Кремлевской стены. Все чин по чину. Аты-баты. Только стукнули хлопцы гроб незабвенного нашего Леонида Ильича об мерзлую землю. Так, что из всех ста миллионов телевизоров треск раздался. Не к добру это. Может и специально долбанули. Чтобы советские труженники осознали торжественность момента. Кто знает? Говорят, он был еврей. Похож немного. Особенно в профиль. Упорный старик. До конца свою линию гнул. Жилье строил. А то, что книжки писать начал, так это референты, небось, надоумили. Сами и написали, а старику на подпись подложили. Войну в Афганистане начал. Устинов, наверное, уговорил! Лёня женщин любил. Замужних, зрелых, в соку. Мужей повышал в чине. Семьи квартирами одаривал».

Санечка уже хрипела и жужжала от экстаза. Волька был рад, что дело к концу идет. Каждый раз, когда дочь делала это у него на глазах, чувствовал себя не в своей тарелке, стеснялся. Ему представлялось, что Санечка – заводная пчела и что это он заводит ее, заводит как игрушку, металлическим ключиком... А пчела жужжит...

«О, господи! – восклицал Волька. – Идет вечер, стучат часы. Стучат. Проходит все, все проходит, ничего не остается. Куда мы все летим? Заводные пчелы. Когда-нибудь прилетим в бетонный улей. Стукнет и нас время о мерзлую землю. Добро пожаловать, товарищи, в вечность. Еники-беники ели, ели вареники и все равно все померли! Жил дорогой наш (голосом Брежнева) генеральный

секретарь Брежнев Леонид Ильич и умер. Похоронили вчера. А забыли сегодня. Как будто он не человек был, а облако. Или минутка. Прибежала, отстучала свои секундошки маленьким молоточком по нервам и испарилась. И нет ее, сожрала ее пустота. Время все сжирает. Что это вообще такое? Абстракция. Нету времени на самом деле. Все стоит в пустоте, мертвое. А тикать часики начинают, только когда человек из яичка вылупливается. Т.е. время вместе с жизнью рождается и со смертью опять останавливается. Без нас его и не было бы вовсе. Мы его толкаем. На кой черт? Да... Шла машина темным лесом... За каким-то интересом. Когда же эта машина их всех заберет? И Дмитрия Федоровича и Константина Устиновича и Юрия Владимировича. Скажите мне, космические муравьи, кто теперь нашего горячо любимого медалью Жолио-Кюри наградит, лично... Кто ему ружье с изумрудами подарит? Будет он в заоблачных высотах небесных оленей из рогатки бить. Я бы понял еще, если бы в природе хоть какой-то смысл, какая-то справедливость была. Хоть малюсенькая. За доброе дело – вознаграждение. За злое – по шеям. Так ведь нет. Нету. Одна смерть на всех. Вот, мы хотели общество особое построить. Коммунизм. Природу подправить. А что вышло? Сами не поймем. А дальше, что? Обратный отсчет времени уже пошел. Инте-инте-интерес, выходи на букву С! Знаешь, доченька, какой у нас на заводе цирк начался?»

Санечка не отвечала. Она уже испытала высшую радость тела и сладко сопела, засыпала. Волька осторожно отнес ее в ванную, посадил, обмыл теплой водой, вытер и положил в кроватку. Сам сел рядом, гладил дочку по голове и продолжал говорить шепотом.

«Петя Беркутов, наш зам начальника снабжения десять тонн стальных прутков налево продал. Да. Аты-баты. А с директором, Приговым не поделился. Нам Вачнадзе рассказывал. Хохма вышла. Продал он пруты колхозу «Литейный», дело обстряпал с председателем Васяниным. А этот Васянин давний корешок Приговский. Ну вот, вызывает Пригов Петюню и говорит – ты что же, Петруччо хренов, вытворяешь? Мои же прутья моему же кадру продаешь мимо меня! Мимо начальника снабжения. Мимо завода. К прокурору захотел, сволочь! Тут условным не обойдешься, как в тот раз с медяшкой. Тут три полновесных годика тебе светят. Или пятерик. Аты-баты на базар. И что ты думаешь, Санечка?»

Растрепали Петюньку на дознании. Прокурор-то рад стараться. Хищение социалистической собственности! Только хохма на этом не кончилась. На суде много грязного белья вылезло. Петюнька, говорят, орал в полный голос: «Топите меня, топите! И я вас всех в кислоте утоплю! Не отвертитесь! Хочу показания давать. На директора Пригова, зав. складом Добровольскую, любовницу его, и на старшего инженера Боткина». А это куда тяжелей десяти тонн железного прута и ста кило меди весит. Потому что сырье опасное, да еще – преступная группировка, государственное дело пришить могут. У прокурора челюсть отвисла от набежавшей слюны. Тут, говорят, и Пригов распахнулся. Петюньке грозил язык выдернуть, прикрикнул и на судью. А та взвилась. Бывалая баба, всего тут у нас накушалась. С Добровольской истерика. Боткин за сердце схватился, валидол ему дали. Публику из зала вывели, одного Вачнадзе оставили. У того нервы в порядке. О чем они говорили, не знаю. Только Петюньку-глупого потом все-таки засадили. Не помогла ему кислота. Против лома нет приема. Боткин в больничке отлеживается. Пригов – не поймешь, то ли под судом, то ли нет. На заводе болтают, Вачнадзе новым директором будет. Этот – жучище. Ушлый. Снабженец старой школы. Не какой-нибудь романтик... Весь Кавказ с нашего завода жить будет!»

Тут Волька услышал скрип входной двери. Заботливо подоткнул дочери одеяло и вышел в коридор. Встретил жену. Сели чай пить. Потом легли. В постели Эля неожиданно для Вольки разрыдалась. Он принялся было её утешать. А она объявила ему, что беременна от театрального режиссера, что уходит к нему жить, уезжает в Ленинград. От горя и смущения Волька даже забыл сказать жене, что Санечку надо завтра везти к двенадцати к зубному врачу, а он не может уйти с работы.

Прошло еще тринадцать лет.

Волька оставил свою белую Ауди на подземной стоянке в здании фирмы. Решил пройтись. Поздняя осень в Тель Авиве – чудесное время. Дышится легко. Шел и думал о том, что Санечке надо купить новые чулочки – старые поистрепались и некрасиво смотрелись на ее длинных чистых полированных ногах. Зашел в магазин. Знакомый продавец увидел богатого покупателя и сразу расплылся в

подобострастной улыбке.

«Шолом, господин Вольфсон, опять дочке презенты делать хотите?»

«Чулки новые хочу купить. Но не нейлоновые, а цветные, вязаные, теплые. Мерзнут ножки у моей куколки».

Продавец запричитал: «Такое несчастье, так тяжело, когда дети болеют...

Посмотрим... Да, вот тут они, на полочке, только размерчик запомнил...»

«Средний давайте, на десятилетнего примерно ребенка...»

«Понимаю-с, вот, посмотрите... И теплые и с кружавчиками, подойдет?»

«Давайте, и эти, шахматные, тоже заверните...»

Волька вышел из магазина. Посмотрел на улицу, на дома. На секунду им овладело мучительно-экстатическое ощущение отчужденности. Дома, фонари, сумеречный лиловатый свет... Чужой курортный город и он... Его тело не хотело быть здесь, рвалось вон из этого лилового пространства как сошедший с ума жемчуг рвется вон из золотой оправы и падает на пол и скачет по паркету и закатывается в пыльный угол...

Он дернулся, кашлянул, с трудом взял себя в руки. Гулять больше не хотелось. Поспешил домой.

В почтовом ящике лежал помятый советский конверт.

«Письмо. Оттуда. Как это всегда фатально. Лежит предмет. Ждет тебя, как крокодил – антилопу. Потом – хватать! Кажется, тещин почерк. Неужели не надоело ей жаловаться и денег просить? Как это гнусно, постоянно напоминать человеку о его боли. Потом прочитаю, не хочу вечер портить».

Из-за двери послышалось: «Папка-дядька, папка-дядька!»

«Сейчас, сейчас, милая. Я должен переодеться...»

«Нет, нет, нет... Санечка одна. Одна. Как жемчуг».

«Милая моя, солнышко мое, жемчужинка, я сейчас...»

«Хочу подарки!»

«Будут подарки. Я тебе новые чулочки принес! Теплые, с кружавчиками и шахматные...»

«Поцелуй-покажи! Поцелуй-покажи!»

Волька вошел в помещение дочери. Это была роскошная, почти круглая комната, с огромной кроватью посередине. На полу валялись игрушки –

большие плюшевые звери. Игрушки висели на стенах и даже с потолка спускались веревочки, на которых качались оранжевые тигры и белые носороги. На кровати, под пунцовым атласным одеялом лежала Санечка – рот ее был открыт, она смотрела неподвижными стеклянными глазами в потолок, искусственные зеленые волосы разбросались по белоснежной пухлой подушке... Волька сел на кровать, распаковал и показал Санечке купленные чулки, положил их на одеяло, поцеловал дочку в холодную нижнюю губку, наскоро причесал ей волосы и вышел из комнаты, оставив дверь открытой.

«Поцелуй, покажи, а сама на чулочки внимания не обратила...» – ворчал Волька. Вошел в ванную. Разделся. Крикнул Санечке: «Малышка, не хочешь со мной в теплой ванной полежать? Места хватит». Ванная в его шикарной квартире была большая, там не только отец с дочерью, но и еще пять человек могли бы разместиться.

«Папка-дябка, хочу-полежать, хочу-полежать...» – заголосила Санечка. Волька пустил горячую пенную струю, выдавил в воду немного жидкого зеленого мыла и направился в комнату дочери. Выдернул ее одной рукой из-под одеяла, сунул под мышку как папку и отнес в ванную. Там он обернул ее холодное пластиковое тело специально припасенным для таких случаев тяжелым водолазным поясом и посадил Санечку, прислонив ее головку к изящному кафельному барьеру. А сам пристроился напротив, так, чтобы его правая нога легла ступней на промежность дочки.

«Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана... Да, моя жемчужинка, убили нашего Ицхака... Прикончили. Вот тебе и Шир а-Шалом... Фанатик пристрелил. Красавец Игаль...»

«Игаль, игаль», – повторяла Санечка.

«Ах ты моя маленькая дурочка, куколка, девочка моя нежная, сладенькая моя конфеточка... Рабин думал, с арабами можно о чем-нибудь договориться. Думал, думал и в суп попал... (поет) Рош а Рош а-мемшала, ты на кладбище пошла... Еники-беники клёц... Клёц – и застрелили Рабина. И тут пирамида проклятая вверх ногами стояла. И все разрушилось. Не потому, что он хороший или плохой. А потому, что Израиль не хочет отдавать захваченные земли. Не может отдать. Верит до сих пор в старые обещания, которые сам себе и дал. Верит в

Тору. А Тора – это финтер, квинтер, жаба!»

Санечка на это откликнулась картаво: «Заба! Заба!»

Волька запричитал: «Шла машина темным лесом... За каким-то интересом...

Инте-инте-интерес, выходи на букву С! Жаба пять, жаба пять, жаба триста тридцать пять!»

Санечка тоже замурлыкала хриплым дискантом: «Заба пять, жаба пять».

«Не отдадут они землю. Жадные. Скорее дадут себя поджарить. А если отдадут, то нам точно конец. Сбросят нас в море. Поедем в Уганду или в Алабаму. Одна надежда – арабы сами себя загрызут. Истерзанный волчий народ. Воспаленные люди. Огненные петухи. А еврей? Спесивые кривляки! Религиозный маскарад устроили! Перед кем кривляетесь? Неужели и в самом деле думаете, что Он на вас сверху глядит? Божьи избранники! Надменные до скрюченности. Скачущие козлы. Бегут-спешат, (заговорил быстро) бегут-спешат-бегут-спешат.

(Медленно, громко и безумно) Тик-так, тик-так! (Быстро) Тик-тик-тик...»

Санечка поддержала отца: «Тик-тик, так-так! Тик-тик, так-так!»

«Говорят, там с выстрелами какая-то неувязка. Везли долго. Холостые пули.

Чепуха. Убили и ясно за что. Аты-баты!»

Тут Волька громко застонал, но не от траурных мыслей, а от блаженства, распространяющегося волнами по всему его телу от большого пальца, залезшего в раскрытую резиновую вагину куклы...

Через несколько минут вытрясенная, вытертая и причесанная Санечка уже лежала под одеялом в своей кровати, а рядом с ней лежал ее голый отец. Он гладил ее, одетые в новые цветные чулки, ножки.

«Милая моя, милая девочка. Жемчужинка моя. Какие худенькие, длинненькие у тебя ножки. Из лучших сортов пластмассы. В Европе делали, по индивидуальному заказу. Имя у тебя было странное – Кристина. Но я-то знал, что ты не Кристина, а моя маленькая Санечка. Вернулась ко мне. Оттуда. Сейчас мы твои ножки осторожно разведем и папа ляжет на тебя. Еники-беники! Папка-дябка сделает то, что мы с тобой так любим делать вместе. Без чего твой папка давно сошел бы с ума и умер в этом лиловом сумеречном аду. Еники-беники!

Утром и вечером, в теплой кроватке, под мягким одеялом... Лети пчелка, лети...

«

Волька навалился на куклу и начал свой одинокий труд... Трудился долго... В поте лица своего... Качался и напевал: «Аты-баты, аты-баты, тик-так, тик-так». Через час отвалился от куклы как пьявка от жертвы, сытый, удовлетворенный... Затем поспал недолго. Потом встал, пошел на кухню делать кофе. За кофе вскрыл, наконец, конверт. Писала, действительно, его бывшая теща. «Должна тебе сообщить, что Эля, ее муж и двое их детей зверски убиты. Страшное преступление. Перед смертью их пытали. Внука и внучку повесили. Тела родителей нашли расчлененными, обожженными, со сломанными костями. Глаза выколоты... Не могу писать, плачу... Вся квартира разгромлена. Видимо, искали гонорар за спектакль, который Марк получил в театре. Наверно, свои и навели бандитов... Ты знаешь, какой ужас царит сейчас в нашей многострадальной стране. Правильно ты сделал, что уехал. Похороны состоялись в октябре. Их оплатили родители Марка. Сеня не вынес горя, ушел от нас. Его кремировали две недели тому назад. Достоин похоронить его я не могла, не на что. Урна стоит до сих пор в шкафу. Может быть, ты бы мог передать деньги с Фельдманами? Они едут сюда праздновать Новый год. Тогда и памятник общий поставим. Белая мраморная плита, не дорого. Я думаю, полторы тысячи долларов хватит на все. Дорогой Волька, никогда не могла понять, как ты смог вынести смерть Санечки. После ухода твоих родителей она оставалась единственным близким тебе человеком. Теперь я сама должна пережить смерть самых дорогих мне людей. Не знаю, за что мне такое наказание на старости лет. Не нашла твой телефон, только адрес в записной книжке Сени...»

Волька отложил письмо в сторону. Его лицо не отражало особенного волнения или горя. Он тихо, на цыпочках вошел в комнату дочери, сел на пол рядом с кроватью и зашептал: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана... Тик-так, тик-так, тик-так... Лети пчелка...»